

04.02. (1941) 7
 Рос. муз. газета. - 2002. - № 4. - С. 7
 ТРАГЕДИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Прошло около полувек с тех пор, когда я была освобождена из советского лагеря, где провела шесть лет, и никогда я не называла публично имя неоднократно доносившего на меня человека - из чувства жалости к его родным и к нему самому, страшной жертве сталинского режима. Теперь же, после выхода в свет в 2001 году двух изданий книги А.А.Локшина "Гений зла (частное расследование)", в которой в неспешном, оскорбительном тоне говорится об Анатолии Яковсоне, Филиппе Гершковиче, Игоре Карпинском, обо мне, а также преподносится полуфантастическая версия определенного периода жизни и деятельности композитора Александра Лазаревича Локшина - отца автора книги, мне не остается ничего другого, как назвать вещи своими именами и остановить поток лжи. Итак, имя доносчика - Александр Лазаревич Локшин.

Я познакомилась с ним в 1948 году в семье моих близких друзей Ведерниковых-Геккер. Ольга Юльевна Геккер, немка по происхождению, была замужем за замечательным пианистом Анатолием Ивановичем Ведерниковым. Его родители были посажены в 1937 году как приехавшие из враждебной Маньчжурии: отец был расстрелян, а мать долгие годы скиталась по лагерям. Родители Геккер, приехавшие из-за границы с самыми лучшими намерениями - соединить коммунизм с христианством, также были арестованы как враги народа в начале 1938 года: отец расстрелян, мать - в вечной ссылке, дожила, слава Богу, до реабилитации. Кроме того, в круг наших друзей входил Святослав Рихтер, и благодаря родственным связям с Нейгаузом (моя тетя была за ним замужем), мне довелось встречать действительно замечательных людей, таких как Пастернак, Фальк, Габричевский, Асмус, Шебакин и многие другие. Эти встречи запомнились не только интереснейшими разговорами об искусстве. Были очень жаркие споры, но при всех, порой глубоких, расхождений в области искусства спорящие никогда не затрагивали личность - несмотря ни на что, они оставались дружным, сомкнутым кругом людей, которые абсолютно понимали друг друга. И мы, молодые, были счастливы жить в этой высокодуховной атмосфере.

Шура Локшин был вне этого круга моих близких друзей, но, будучи другом Толи Ведерникова и Оли Геккер, стал также другом и моей семьи. Моя семья тогда состояла из двоюродной сестры и ее маленькой дочери. Мать, отец и брат сестры были к тому времени арестованы (брат, в частности, за то, что выпил за здоровье заключенного отца). Все мы часто общались и, естественно, говорили на самые разные темы. Поразительно, но Рихтер, увидев однажды у меня Локшина, спросил: "Зачем он бывает в твоём доме?" Я ответила, что Шура - замечательный композитор и блестяще эрудированный человек. На это Святослав сказал: "Я не отрицаю - он замечательный музыкант, но очень дурной человек. Випа (так он называл меня), он тебя посадит!" Увы, через два года это оказалось горькой правдой.

Но в период с 1948 года и по осень 1949 года Локшин, насколько позволял его сумрачный характер, был жизнерадостным, воодушевленным и превосходно обо всем рассказывал. На первом месте была, конечно, музыка. Однако и его знания в области литературы или живописи были исключительными, даже принимая во внимание, что, скажем, Толя Ведерников также был замечательным знатоком искусства. Будучи детьми или родственниками репрессированных, все мы, конечно, понимали, что и нас в любой момент могут арестовать, и поэтому мы спасались духовной жизнью. Мы устраивали разные игры, очень любили шарашу - изображали музыкальные или литературные произведения. Шура никогда в наших играх не участвовал, и вообще, когда с нами был Рихтер, Локшин не присутствовал.

Несмотря на это, с Шурой у нас продолжалась хорошая и открытая дружба. Он искренне привязался к моей маленькой племяннице Оле, которой тогда было два с половиной года. Шура всегда его любил, приносил какие-то подарки. Когда после моего ареста сестра прибежала к Локшину как к близкому другу и сказала, что арестовали Веру и теперь, наверное, арестуют ее, он с абсолютной твердостью ответил: "Лю-

бочка, вас это не коснется". Как полагала Люба, Шура не посадил ее только из-за любви к маленькой Оле. Не знаю, может быть, это и так. Из друзей Шуры я категорически не признавала Михаила Мееровича, талантливое композитора, но в моральном плане, на мой взгляд, человека нечистого. Один раз, посетив наш дом, он стал рассказывать совершенно непристойный анекдот, после чего я попросила его больше никогда не появляться. Знала я и сына Есенина - Александра Сергеевича Есенина-Вольпина, который однажды зашел к нам вместе с Шурой. Он очень вольно говорил о советской власти, и мы просили Шуру удержать его от этого, поскольку Есенин-Вольпин, конечно, мог и в других местах высказываться аналогичным образом. Шура очень искренне к нему относился, хотя позднее это не помешало ему стать виновником ареста Алики в 1949 году, - утверждать это я могу со слов самого Вольпина.

После возвращения из лагеря Алика осенью 1956 года встретился со мной и рассказал свою историю. Дело в том, что одним из пунктов обвинения в его деле значилась такая его фраза: "С блевотиной из меня вышла советская действительность". Алика произнес это в свой день рождения после вечеринки, когда он с Локшиным находился на безлюдной улице. Кто мог это услышать? Ведь, как говорил Алика, "вокруг были луна, канава и Локшин". Для Вольпина не было никаких сомнений в виновности Локшина. После лагеря Алика сам пришел домой к Локшину и стал его изобличать. Как рассказывал Вольпин, "Шура вынес на меня своего ребенка [пятилетнего Шурика - В.П.], как бы прикрываясь им. Тая [Т.Б.Алисова, жена А.Л.Локшина - В.П.] не нашла ничего лучшего, чем сказать: "Алик, неужели ты нам не друг?" "Здрассьте!" - сказал я и ушел, захлопнув дверь". Позже Вольпин звал меня изобличать Шуру и сам это делал публично, буквально преследуя его.

Теперь вернемся к событиям 1949 года, когда был посажен Есенин-Вольпин. После этого ареста Шура как-то "пропал" из нашей жизни, что было совершенно неестественно после его еженедельных встреч с нами - он всегда приходил как свой человек. А с лета и вплоть до сентября 1949 года мы с Шурой не виделись. Однажды моя сестра случайно встретила его на улице и спросила о причинах его исчезновения. Шура, по словам сестры, был очень бледен и взволнован, объяснив свое отсутствие плохим состоянием здоровья (у него, как известно, была удалена большая часть желудка), но пообещал в ближайшее время зайти к нам. И с сентября 1949 года он возобновил свои визиты. Теперь это были именно визиты. У нас с сестрой было ощущение, что он как будто наильно к нам приходил. А все разговоры стали носить сугубо политический характер. Когда мы собирались за столом все вместе, с Олей Геккер, ее сестрой Марселлой, или чай, то разговаривали на общие темы. Но когда мы оставались вдвоем, то Шура в какой-то страшной озлобленности и нервном напряжении говорил об этой стране, о ненавистном Сталине и т.д. Каждая его речь была выступлением, причем необыкновенно интересным. Я помню, как он рассуждал на тему злодейства у Шекспира. Он проводил параллель между шекспировским Яго, сознательно творившим зло, и работниками госбезопасности у нас в стране, которые, по мнению Шуры, являлись не злодеями, а зооличностями, низшей расой людей, не сознававшими то, что они делали. Я думаю, что "зооличность" - это Шурин термин, во всяком случае я больше ни от кого такого не слышала. В подтверждение этого довода Шура приводил ряд убедительных доказательств, а весь разговор был посвящен природе КГБ.

Была целая серия (двенадцать, тринадцать, может быть, больше) тематических разговоров. Помню разговор о коллективизации, когда Шура блестяще анализировал литературные произведения, в частности Шолохова, доказывая, что тот на самом деле сочувствовал "отрицательным" героям "Поднятой целины". Была беседа о формализме - Локшин издевался над тупостью критиков, в том числе критиков музыки Шостаковича, над их неграмотностью, соглашаясь с теми, кто говорил: "Россию постигло еще одно несча-

стье - один из ее вождей играет на рояле" (речь шла о Жданове). Обсуждали мы и "еврейский вопрос", особенно в связи с ужасной историей Еврейского театра. Меня это тоже мучило, поскольку у меня было много друзей из этого театра. Я видела на сцене Михоэлса, знала и Александру Вениаминовну Азарх-Грановскую, жену одного из организаторов театра. Она прекрасно вела молодежную студию, куда мы с восторгом ходили, а Фальк даже делал для них отдельные декорации. И мы с Шурой говорили об этом, он с гневом отзывается о мерзавцах, которые закрыли театр. Был, наконец, еще один разговор - о природе предательства. Шуру мучила мысль о предательстве, которое, по его мнению, должно быть осмыслено. И он осмыслил его, во-первых, по рассказу Леонида Андреева "Иуда Искариот", основная идея которого состоит в том, что Иуда предал Христа с целью его возвеличивания, чтобы Христос стал тем, кем он для нас является. Во-вторых, Шура ссылаясь на рассказ "Влас", написанный Достоевским (такого сочинения у него не встречала), герой которого совершил кощунство - выстрелил в чистилу святых даров, а потом раскаялся и пешком пошел в Сибирь. И Шура рассматривал предательство как нечто двухстороннее: с одной стороны, как кощунство, а с другой - как что-то страшно важное, как раскаяние, как любовь к людям, даже любовь к Богу. И он с упорством доказывал мне, что через кощунство познается высота какой-то идеи. Я не могу, конечно, выразить это так блистательно, как Шура. Но надо сказать, что он меня не убедил, и предательство для меня осталось черным делом.

Через неделю или две Шура приходил снова, но как бы нехотя. Я думаю, что эти визиты его тяготили. Правда, он с особой нежностью в это время относился к моей маленькой племяннице: каждый раз приносил подарки, а на день рождения преподнес велосипед. Представьте, он тогда зарабатывал мало, был болен - и такое внимание! Но наряду с этим в нем постоянно возрастали и горечь, и нервное напряжение. Еще одна характерная черта этих визитов - безумный страх. Шура казалась, что наши разговоры подслушивают: он часто подходил к окнам, за время беседы мог несколько раз подбежать и открыть дверь комнаты. Он подозревал мою соседку, неграмотную женщину, которая ничего не могла понять в наших разговорах. Подозревал он в долносительстве и одну мою коллегу, переводчицу, с которой я вместе училась (ее, кстати, тоже звали Шурой). Она работала в консульстве, и Локшин считал, что она обязательно доносит на меня. Но мы с ней никогда не говорили о политике. В мае 1949 года из Караганды тайно приехала из ссылки старшая сестра Оли Геккер - Алиса, тяжело больная полиомиелитом; ей здесь делали протезы. Алиса жила у нас, и Шура был категорически против этого, считая, что соседи могут донести. Вскоре Алиса уехала. В июне мы не виделись, а в июле Шуру случайно встретила на концерте моя сестра Люба. Я тогда болела гриппом. Узнав об этом, Шура страшно взволновался и пообещал прийти. Во время нашей, как оказалось, последней встречи он был очень беспокоеен, у него дергалось лицо, и он так странно на меня смотрел, как будто я лежала в гробу. Я его спросила об этом, о причинах его долгого отсутствия, вспомнила наши замечательные беседы, сказала, что всегда буду их помнить. Шура ответил, что ничего особенного в наших встречах не было. Расселись мы по-хорошему. Интересно, что во время одной из наших последних бесед, когда Шура особенно опасался, что нас подслушивают, речь зашла о возможном вызове в соответствующие органы. Я сказала, что каждый из нас отвечает за то, что он знает о людях и говорит о них. Шура спросил тогда меня: "Ну, а если вас спросят о Тошке (так мы называли в нашем кругу Толю Ведерникова)? Ведь вы знаете, что он ненавидит советскую власть и ругает ее". На это я ему возразила следующее. Можно сказать о человеке все, что угодно, даже наклеветать на него: сказать, например, что он жадный, рэцкий, грубый, плохо обращается с детьми и т.п. Но нельзя о нем говорить ничего, что скомпрометировало бы его в политическом плане. Шура был изумлен тем, что я могу солгать органам. Я ему прямо сказа-

ла: "Да, глядя в глаза этим проклятым шакалам, я бы говорила, что Тошка никогда в жизни не высказывался о политике - он занят только музыкой".

К сожалению, именно эти слова последствием процитировал мне следователь во время одного из допросов. Надо сразу сказать, что следствие у меня, по сравнению с миллионами несчастных людей, было легким (наверное, в какой-то мере благодаря Шуре). Был огромный материал на меня - целая серия выступлений, не просто какой-то несчастный анекдот. Каждый наш разговор с Шурой был представлен следствием как мой монолог, мое высказывание или мое личное мнение. Шура здесь не пожалел красок, и из слушателя я превратилась в рассказчика-философа. Меня обвиняли в клевете на советскую власть - я все отрицала. Тогда следователь начал зачитывать якобы мои высказывания о зооличностях или о Еврейском театре. В ответ я утверждала, что все это провокация, требовала очной ставки с клеветником, но сама сначала не подозревала Шуру - думала, что Шура мог рассказывать о наших беседах Мише (Мееровичу), а тот еще кому-то.

В конце ноября 1950 года мне устроили очную ставку с сестрой Шуры - Марией Лазаревичей, очень большим человеком. Она дрожала и сначала не могла вымолвить ни слова и только после того, как следователь пригрозил ей привлечением к уголовной ответственности, робко сказала, что я плохо влияла на ее брата, ругала соответствующие органы, называла их "шакалами". Но с Марией Лазаревичей вообще никогда ни о чем не разговаривала, даже тогда, когда благодарил ее за чай и угощение, будучи в гостях у Локшиных (за все время нашего общения с Шурой так было не более трех раз, да и то случайно). Потом надо учитывать, что, во-первых, все наши беседы с Шурой проходили у меня дома, а во-вторых, в то время разговоры о политике с малознакомыми людьми просто исключались. Мне очень легко было отрицать все показания Марии Лазаревичей, хотя именно после очной ставки с ней мне стал понятен целенаправленный характер бесед со мной Шуры. В тот же день меня вновь вызвали для очной ставки. В кабинете помимо следователя, вешего мое дело, были и другие следователи, специально пришедшие послушать показания. Я увидела Михаила Мееровича, с которым я также никогда никаких разговоров не вела. Но он тоже пользовался материалом, полученным с материалами от Шуры, поскольку единственный раз, когда мы оказались с Мееровичем и Локшиным вместе, за одним столом - был день рождения Шуры, кажется, 19 сентября 1949 года, у него дома. Тогда при прощании на лестничной площадке, когда все остальные гости уже прошли вперед, Локшин сказал мне: "Вера, посмотрите на портрет Маленкова. Это самый лютый антисемит, и мне придется за него голосовать". Я ответила, что все они одним миром мазаны, все сволочи и негодяи (за точность формулировок я не ручаюсь), не все ли равно. Вот это и пытался на очной ставке мне повторить несчастный Миша Меерович - он сильно дрожал, а следователи еще и насмехались над ним, разыгрывали сцену, что якобы Меерович плохо отзывался о вождах, а стенографистка все это фиксировала. Меерович был настолько напуган, что когда ему давали пропуск, он отказывался его брать, думая, что это ордер на арест. Когда я знакомилась с материалами дела по окончании следствия, мне представили три свидетельских показания. О двух из них - очных ставках с сестрой Локшина Марией Лазаревичей и Михаилом Мееровичем - я уже упоминала. Третья фамилия, Короткина, была мне незнакома, и я сначала отказалась читать ее показания. Но по просьбе следователя я их все-таки прочла: речь шла о том, что я, будучи по происхождению из буржуазной семьи, плохо влияла на ее сына, Александра Лазаревича Локшина, ненавидела советскую власть и т.п. Только тогда я поняла, что это показания матери Шуры, с которой я также никогда не вела никаких разговоров, а все общение ограничивалось общими фразами типа "здравствуйте", "спасибо за угощение" и "до свидания". Таким образом, мать и сестра Шуры, а также его лучший друг выступили в роли лже-свидетелей. Было еще одно обстоятельство, которое укрепило меня в мысли о причастности Шуры к моему аресту. Во время одного из допросов следователь зачитывал якобы мои выска-

зывания, в частности о Томке, которая постоянно ругает советскую власть. Я сразу поняла, что речь идет не о какой-то вымышленной Тамаре, а о Тошке - Анатолии Ведерникове. Следователю я, естественно, сказала, что это клевета, что у меня ни родственников, ни знакомых с таким именем нет, все это выдуманное провокатором. Я полагаю, что эта Томка возникла вследствие того, что следователь неправильно прочитал имя, видимо, из-за неразборчивого почерка (надо сказать, что у Локшина был своеобразный, очень вычурный почерк, и, наверное, буквы "ш" и "м" были очень похожи). Как бы то ни было, осознание предательства Шуры стало для меня источником личной драмы - гораздо большей, чем сам арест.

Материала у следствия, как я уже говорила, на меня было предостаточно. Особое совещание состоялось 22 декабря 1950 года, и получила я 10 лет лагерей по части первой статьи 58-10 за антисоветские разговоры. Считалось, что это легкая статья, лучше, чем массовая агитация. Но попала я все равно в особо закрытый режимный лагерь с поэтическим названием "Озерлаг" на строительство трассы Тайшет-Братск. Лагерь не озлобил меня, было много замечательных людей, порой даже не подозревавших о своей доброте, но вместе с тем способных на такие жертвы, на которые не всякий порядочный человек способен.

После освобождения в 1956 году я еще один раз случайно встретила Шуру. Он не появился, когда меня освободили, хотя пришли все мои друзья. Но однажды я шла в гости к Рихтеру (он тогда жил на улице Неждановой, рядом с консерваторией) и почувствовала, что на меня кто-то смотрит. И я увидела Шуру на противоположной стороне улицы в белом плаще, с какой-то сияющей улыбкой, что вызвало у меня настоящий шок. Я быстро прошла мимо. Когда я рассказала Святославу об этой встрече, он мне сказал: "Випа, он хочет с тобой дружить. Представь: вот убили курицу, сварили, съели, а она вдруг откуда-то появилась. Это же интересно, радостно. Вот и он так". До сих пор этот психологический момент мне непонятен.

Увы, публикации сына Локшина и его попытки доказать невиновность отца выглядят очень наивно, а где-то и оскорбительно. Особенно возмущает то, что он написал об Анатолии Яковсоне, которого я хорошо знала. Это был человек кристальной честности и душевного благородства, его никак нельзя было заподозрить в ведении какой-то двойной игры с семьей Локшина, "разведки боем" - просто потому, что он всегда прямо говорил людям то, что он о них думал. А в книге Локшина он предстает чуть ли не шпионом, сводящим какие-то счета. Что же касается появившегося во втором издании книги утверждения сына, что разгромная критика кантаты отца, восхваляющей Сталина, на пленуме Союза композиторов СССР в 1949 году (то есть уже после ареста Есенина-Вольпина) является бесспорным доказательством его невиновности, то не надо забывать и другого. Именно в это время Локшин получил жилье - несколько комнат для себя, своей матери и сестры. Тогда это было исключительным событием, и понятно, что человеку гонимому или с сомнительной (с точки зрения советской власти) репутацией квартиру в Москве вряд ли бы предоставили.

Одно могу добавить - у Шуры не было причин меня сажать. Может быть, это объясняется его страшной болезнью, патологическим страхом человека, взглянувшего в лицо смерти (а это было, когда ему делали операцию). На этом тоже могли сыграть карательные органы, зная, что Шура тяжело болен и тюрьма для него равносильна смерти. Однажды Шура сказал мне: "Если бы я знал, что мне жить осталось один день, то я бы..." Но он так и не договорил. Может, он имел в виду, что тогда бы он отказался от сотрудничества. Не знаю. Но думаю, что он страшно мучился от этой двойной жизни, осознавая все. И, наверное, только в музыке находил единственный выход своим страданиям.

В настоящее время я сочла своим долгом засвидетельствовать факты биографии Локшина с тем, чтобы исследователи его творчества имели возможность объективно представить себе нравственный облик этого человека, двойственную природу его личности и точнее определить степень взаимодействия гения и злодейства в жизни Шуры Локшина.

Вера Прохорова
7 апреля 2002 года